

Фаге Эмиль

**Политические мыслители и
моралисты XIX века**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 101
ББК 87
Э55

Э55 **Эмиль Ф.**
Политические мыслители и моралисты XIX века / Фаге Эмиль – М.: Книга
по Требованию, 2022. – 419 с.

ISBN 978-5-519-78623-2

Содержание: Стендаль; Токвиль; Прудон; Сент-Бев; И. Тэн; Э. Ренан

ISBN 978-5-519-78623-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

если же удивленіе есть своего рода вѣра, если, поэтому, слѣдуетъ искать того, чему удивлялся Стендаль, то онъ удивлялся только силѣ. Стендаля можно бы разсматривать какъ перваго изъ нитцшеанцевъ, если бы первымъ уже не былъ Вольтеръ. Стендаль вѣритъ въ силу такъ же, какъ другіе вѣрятъ въ право, и почти готовъ разсматривать энергію, даже преступную, какъ единственную человѣческую добродѣтель. Впрочемъ, такъ какъ онъ не былъ философомъ, то и не сумѣлъ возвести свои склонности въ систему; но если бы онъ это сдѣлалъ, то открылъ бы въ себѣ прежде всего скептика, а затѣмъ порицателя и врага всякой морали, убѣжденнаго, что человечествомъ руководятъ тѣ, которые сильны и презираютъ его, и не считающаго это дурнымъ.

Сентъ-Бёвъ, еще болѣе глубокій скептикъ, не ставитъ никакого идеала предъ человечествомъ, даже идеала царства силы. Скептикъ-дилетантъ, онъ обрекаетъ свой великолѣпный умъ на то, чтобы все наблюдать, все понимать и все объяснять. Руководитель умовъ въ изслѣдованіи,—не въ утвержденіи или вѣрѣ,—онъ почти боится вѣры и достовѣрности, которыя, какъ точки остановки, походятъ на точки привязи, и, фиксируя, рискуютъ заковать въ цѣпи. Изъ его исторіи и естественной исторіи, такъ какъ онъ былъ историкомъ и натуралистомъ, было бы невозможно извлечь никакого закона, никакого правила или даже нравственнаго совѣта, если не считать этимъ убѣжденія, что прекрасна та жизнь, которая проходитъ «въ чтеніи хорошихъ вещей и писаніи пріятныхъ»,—*credo*, которое, быть можетъ, не пригодно для весьма значительной части человечества. Это — великій умъ упадка,—болѣе, чѣмъ всякій другой, если только признакомъ упадка великихъ умовъ слѣдуетъ считать взглядъ на міръ, какъ на интересный предметъ, къ которому относишься безучастно,—какъ на чужую страну, по ко-

торой путешествуешь, находя ее тѣмъ болѣе интересной, что она чужая, и стараешься всегда считать ее чужой, чтобы не утратить доставляемаго ею наслажденія.

Тэнъ былъ позитивистъ и пессимистъ, котораго рано привела въ ужасъ испорченность человѣка и жестокость природы, который былъ убѣжденъ, что все, *не здѣшнее*, закрыто для человѣческаго познанія и, не имѣя убѣжища въ надеждѣ, послѣдовательно оставался, въ средѣ враждебной природы и внушающаго ужасъ человѣчества, мрачнымъ и печальнымъ, въ своего рода нравственномъ оцѣпенѣннѣ, которое не могло служить основаніемъ ни для какой животворящей и спасительной доктрины. Своего рода стойкъ, всего чаще покорный судьбѣ, иногда же нервный и возбужденный,—онъ умѣлъ въ часы мудрости только совѣтовать воздержаніе и терпѣніе стойковъ, присоединяя къ этому тщательную заботливость о личномъ достоинствѣ и чести, что опять-таки имѣеть стоическій отпечатокъ. Онъ былъ изъ тѣхъ, которые учатъ энергическому и спокойному отчаянію, и, несомнѣнно, онъ внушалъ мужество; но на его устахъ не видно было той улыбки, полной довѣрія и какой-то радости, съ которой энергичные люди говорятъ: «мужайтесь!» Онъ училъ мужеству, но не ободрялъ. Уважаемый и даже любимый нашимъ поколѣніемъ, онъ былъ учителемъ нравственности только для такихъ учениковъ, которые очень тонко извращали его воспитаніе, въ одно и то же время и пользуясь имъ, и произвольно направляя его къ такимъ цѣлямъ, которыя ни въ какомъ случаѣ не были его цѣлями. Изъ общихъ идей Тэна можно извлечь рационально только то, что человѣчество дурно и что никто не способенъ измѣнить его; что нужно терпѣливо и съ достоинствомъ переносить это, стараясь освободиться отъ жизни посредствомъ: „медленнаго, разумнаго“ и почетнаго самоубійства, называемаго трудомъ.

Ренанъ, гораздо болѣе способный на улыбку, веселость, благожелательность, терпимость и, слѣдовательно, воздѣйствіе на людей,—говоря вообще, не много заботился объ этомъ воздѣйствіи, доказывая тѣмъ, что, въ концѣ концовъ, у него *всегда* было мало вѣры. Онъ слишкомъ любилъ вѣрить во все, чтобы не вѣрить ни во что; и никто другой, какъ онъ, далъ міру ту новую, нужно сознаться, прекрасную и благородную форму скептицизма, который состоитъ въ вѣрѣ во все. Безъ сомнѣнія, одно время онъ вѣрилъ въ науку, подобно Конту, котораго тогда еще не читалъ, подобно Араго или Бертелло, и въ 1848 году принадлежалъ своему времени; но эта стадія не была очень продолжительна, и тотъ своеобразный скептицизмъ, о которомъ мы говорили выше, скептицизмъ всевѣрія,—поглотилъ все. Былъ ли онъ въ этомъ положеніи, или въ этихъ разнообразныхъ положеніяхъ на высотѣ—объ этомъ я пока не буду говорить, — но онъ не создалъ ничего прочнаго, и результаты были отрицательны. Я не говорю, что не было никакихъ. Подъ отрицательными результатами я разумѣю, что Ренанъ училъ насъ или повидимому училъ, *не быть* сектантами, *не быть* нетерпимыми, *не* ненавидить другъ друга изъ-за доктринъ и проч.; это — все драгоценные уроки; но онъ не училъ насъ все же *быть* чѣмъ-нибудь и не далъ намъ ни новой вѣры, ни новаго ученія, ни подтвержденія старыхъ. Онъ съ благосклонностью относился къ намъ и ко всему тому, о чемъ мы думали и могли думать, продумывая это лучше и выражая счастливѣе, чѣмъ могъ это сдѣлать кто-либо изъ насъ. Онъ восхищалъ насъ, улыбался намъ и подсмѣивался надъ нами въ одно и то же время и въ такой формѣ, что мы почти не знали, въ чемъ заключалась насмѣшка въ его одобреніи и расположеніе въ его эпиграммахъ. Онъ развлекалъ насъ и самъ забавлялся на нашъ счетъ, онъ обогащалъ насъ свѣдѣніями, но

иногда почти развращалъ насъ. Въ особенности, онъ заставлялъ насъ думать, а это всегда является неоцѣненнымъ благодѣяніемъ; но онъ насъ не укрѣплялъ, не дѣлалъ насъ сильными — и, если было бы нелѣпо давать „*ренанизму*“ смыслъ, который ему нѣкоторое время придавали въ свѣтѣ, т.-е. смыслъ духовной ироніи и фривольнаго софизма, то нужно все же сознаться, что ренанизмъ, въ концѣ концовъ, не есть доктрина, ни даже то, изъ чего доктрина могла бы выработаться.

Я оставляю въ сторонѣ строгаго и саркастическаго Токвиля, который имѣлъ время проявить себя только какъ историкъ и политикъ и не могъ оставить міру своего завѣщанія, какъ моралистъ,—и перейду къ позитивисту Прудону, который изъ всѣхъ, кого я изучаю въ этой книгѣ,—имѣлъ наиболѣе возвышенный и, относительно говоря, наиболѣе ясный идеалъ. Безъ сомнѣнія, онъ позитивистъ; онъ убѣжденъ, что всѣ человѣческія революціи вызываются экономическими причинами и суть не что иное, какъ потрясенія, вытекающія изъ богатства и бѣдности человѣчества. Но въ то же время, у него есть идолъ, божество, къ которому онъ устремляетъ взоры и простираетъ руки. Онъ обожаетъ справедливость и вѣрить, что человѣчество идетъ по пути къ справедливости,—медленно, съ самыхъ первыхъ шаговъ своихъ и до конца, и какъ бы къ своей цѣли. Въ этомъ основное убѣжденіе Прудона, его господствующая мысль—среди столькихъ неясныхъ и противоположныхъ мыслей. Я достаточно настаивалъ на ложности этой идеи, и нечего удивляться, если я повторю это теперь и еще разъ вкратцѣ выскажу свои взгляды. Идея справедливости является ложной идеей постольку, поскольку она есть общая идея. Сказать, что справедливо платить обѣщанное; что не справедливо осуждать невиннаго, справедливо наказывать виновнаго, согласно извѣстнымъ ему требованіямъ общественнаго договора;

словомъ, сказать, что справедливость состоитъ въ томъ, чтобы сообразоваться со всеобщимъ договоромъ, на который выражено согласіе, и что противное этому является несправедливостью, жестокостью и варварствомъ, — значитъ сказать чистую правду. Но обобщать и распространять идею справедливости за область идеи договора — значитъ смѣшивать несправедливость и неравенство, равенство и справедливость — и провозглашать, что тамъ, гдѣ существуетъ неравенство, нѣтъ справедливости, и существуетъ варварство; но эта послѣдняя идея какъ разъ и не правильна, какъ разъ она имѣетъ совершенно противоположенный характеръ, и погубить всякій народъ, усвоившій ее. Такова была центральная идея Прудона. На мой взглядъ, это ложная идея, но она возвышенна и прекрасна, и можетъ возбудить только уваженіе къ тому, кѣмъ она овладѣла до суевѣрія. Вотъ, по крайней мѣрѣ, человѣкъ, у котораго былъ идеалъ, мысль, которая могла стать доктриной и притомъ такой доктриной, которая, какъ ни оказалась бы она непрочной при испытаніи, можетъ воодушевить умы и направить ихъ, если не къ ея полному и абсолютному осуществленію, то, по крайней мѣрѣ, къ частичнымъ работамъ и измѣненіямъ въ подробностяхъ, крайне полезнымъ и славнымъ для человѣческаго рода.

Но ясно, что наши мыслители второй половины XIX вѣка, говоря вообще, болѣе блестящіе, болѣе проницательные, болѣе *интересные*, чѣмъ ихъ предшественники, смотрѣли менѣе возвышенно, заглядывали въ будущее съ меньшимъ довѣріемъ и смѣлостью, занимались менѣе великими вопросами, и производятъ на насъ скорѣе всего впечатлѣніе унынія, разочарованія и утомленія.

Мнѣ кажется, что мы поворотили назадъ и возвращаемся къ точкѣ отправления, на которой стояли сто двадцать лѣтъ назадъ. Въ началѣ этого вѣка замѣтили, что XVIII вѣкъ

былъ главнымъ образомъ отрицателемъ и разрушителемъ, и стали пытаться созидать и возсозидать. Попытка была неудачна, и всѣ стали возвращаться назадъ,—одни къ мысли Бондильяка, болѣе обосновывая ее,—другіе къ точному воспроизведенію сухого, отрицательнаго духа второстепенныхъ философовъ XIX вѣка,—и Стендаль чрезвычайно любопытенъ въ этомъ отношеніи; иные отдались необузданному наблюденію и блестящей игрѣ съ идеями, съ накопленіемъ знаній, но въ томъ же духѣ, какъ это могли дѣлать и какъ дѣлали въ какомъ-нибудь салонѣ 1770 г.

Между тѣмъ, въ это время старыя интеллектуальныя и моральныя силы, дѣйствовавшія во всей Европѣ въ XVIII вѣкѣ, католицизмъ и протестантизмъ, очутились лицомъ къ лицу одна противъ другой и раздѣляютъ умы,—которые независимая философія какъ будто выпустила изъ своей власти; и это изумляющее нѣкоторыхъ явленіе не представляетъ изъ себя ничего неожиданнаго послѣ неуспѣха новой «духовной власти», которая грезилась возбужденнымъ столько насмѣшекъ мечтателямъ 1840 г.

Хотя, какъ я сказалъ въ другомъ мѣстѣ, современный индивидуализмъ старается преодолѣть и подавить потребность въ духовной власти, но все же эта потребность никогда не уничтожается совершенно, и создаетъ или возобновляетъ свой органъ. Потерпѣвъ неудачу въ созданіи новаго органа, она возстановляетъ старый, или старые. Я совершенно не былъ бы изумленъ, если бы въ XX вѣкѣ католицизмъ во Франціи приобрѣлъ очень сильное вліяніе; но да сохранить насъ отъ этого Богъ, такъ какъ такая Франція не была бы терпима къ протестантскому меньшинству и свободнымъ мыслителямъ. Я не былъ бы также удивленъ, если бы Франція XX вѣка,—такъ какъ управляетъ не всегда численное большинство,—стала очень энергичной поборницей протестан-

тизма,—отъ чего да сохранить насъ Богъ,—по тѣмъ же основаніемъ, которыя только что были указаны.

Что бы тамъ ни случилось, но въ настоящее время моральная и политическая философія не можетъ быть обвинена въ слишкомъ большомъ честолюбіи. Политическая наука «установилась какъ наука» подъ именемъ соціологіи; противъ этого я ничего не возражаю; но, стараясь быть строго «научной», она всего чаще сводится къ статистическимъ работамъ, которыя, безъ сомнѣнія, имѣютъ огромное значеніе, но погрѣбаютъ въ себѣ соціологію, и она теряетъ всякое вліяніе, всякое воздѣйствіе на общественное мнѣніе. Она слишкомъ предоставляетъ прессѣ, т.-е. страстямъ или интересамъ, принявшимъ видъ страстей, право руководить мнѣніемъ или, вѣрнѣе, вести его съ громкими криками на беспорядочный бой. Намъ не достаетъ Прудона или Ренана, Прудона, который бы не противорѣчилъ себѣ, или Ренана, который бы не любилъ себѣ противорѣчить. Когда высказываешь пожеланія, то ничего ни стоять высказывать ихъ вполнѣ съ большой претензіей.

Что касается меня, то я желаю, чтобы появился человекъ, который, съ авторитетомъ гения, убѣдилъ бы эту страну, подвергавшуюся столькимъ испытаніямъ, прежде всего любить самое себя, любить глубоко, пламенно, энергически. Культъ своего я не долженъ быть рекомендуемъ отдѣльному лицу, но для всякой страны этотъ культъ долженъ быть указываемъ, какъ долгъ. Если бы патріотизмъ не былъ добродѣтелью, то онъ былъ бы необходимостью, пока есть народы, у которыхъ онъ не вышелъ изъ моды. Поэтому никогда не слѣдуетъ переставать хвалить и возбуждать патріотизмъ, какъ первую изъ обязанностей и важнѣйшую изъ добродѣтелей, безъ которой всѣ другія были бы бесполезны.

Я бы желалъ также, чтобы этотъ человекъ отучилъ, если возможно, націю отъ химеры абсолютнаго равенства.

Изъ всѣхъ нашихъ тайныхъ золъ—это наименѣе тайное и въ то же время наиболѣе глубокое, которое поѣдаетъ насъ до корней. Всякій народъ, который будетъ благопріятствовать этой болѣзни, вскорѣ погибнетъ отъ нея—и вполне заслуженно. Только путемъ патріотизма можно бороться съ химерической идеей равенства; только представляя неравенство, іерархическую разницу, какъ жертву, необходимую для отечества, для его организациі, для его правильной и слѣдовательно могучей жизни, можно съ успѣхомъ поразить гибельную химеру абсолютнаго равенства. Всякій народъ, который любитъ себя, инстинктивно чувствуетъ, что онъ долженъ выбирать между нездоровой потребностью равенства и законной и спасительной потребностью самосохраненія, и что послѣднее не мыслимо при наличности перваго.

Я бы желалъ еще, чтобы этотъ человѣкъ съ могучимъ вліяніемъ, давая указанные совѣты демократіи, посвятилъ бы себя въ особенности задачѣ научить нарождающуюся аристократію ея обязанностямъ и указать ея дѣйствительные интересы. Что же это за нарождающаяся аристократія? Объ этомъ я ничего не знаю; но я увѣренъ, что она на пути къ своему образованію, такъ какъ всегда, въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени, такая аристократія вырастаетъ изъ нѣдръ народа. Плутократія? Быть можетъ, и я имѣю склонность думать это. Католическая церковь со своей паствой? Протестантская со своей? Армія? Все это возможно. Но, кто бы ни былъ побѣдителемъ, или, лучше сказать, гегемономъ завтрашняго дня, какова бы ни была аристократія, которая, въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго историческаго періода, родится изъ хаоса или, если угодно, туманности, которую представляемъ мы въ настоящій моментъ, нужно ее убѣдить и напередъ ей сказать, что аристократія можетъ обезпечить свою устой-

чивость только своими услугами, т.-е. она может жить только приносимыми съ ея стороны жертвами.

Не будемъ обманывать себя въ этомъ: со времени исчезновенія вѣковой аристократіи стараго порядка у насъ во Франціи было много аристократическихъ попытокъ. Во время реставраціи была религіозная аристократія, во время іюльской монархіи—буржуазная аристократія, во время второй имперіи, какъ и во время первой,—военная. Всѣ онѣ пали очень быстро, не исключительно вслѣдствіе своихъ ошибокъ, но въ значительной степени отъ этого. Онѣ пали вслѣдствіе своего эгоизма, вслѣдствіе той ошибки ума и сердца, что побѣда—была добычей. Всѣ онѣ думали только о себѣ самихъ.

Впрочемъ, онѣ имѣли шансы на существованіе, и, что касается меня лично, я думаю, что одна или другая, или третья изъ нихъ удержалась бы, если бы поняла, что патриціатъ есть отреченіе, что онъ существуетъ только посредствомъ исполненія обязанностей и погибаетъ, пренебрегая этимъ исполненіемъ. Поэтому, аристократіи будущаго необходимо сказать, что она погибнетъ, не только въ томъ случаѣ, если будетъ злоупотреблять своей побѣдой, но если будетъ *пользоваться ею*, смотрѣть на нее, какъ на побѣду. Миссія суровая. Все время повторяютъ: воспитаніе демократіи трудно. Есть нѣчто еще болѣе тягостное: это—воспитаніе аристократій, смѣняющихъ другъ друга на подвижной поверхности демократій.

Наконецъ, человѣкъ, къ которому я взываю, долженъ сказать всѣмъ, что социальная тайна заключается въ девизѣ, надъ которымъ часто смѣются и который можно прочесть на фронтонѣ нашихъ общественныхъ зданій; но все дѣло въ томъ, чтобы умѣть его понять. «Свобода, равенство, братство»,—неизвѣстный, быть-можетъ невѣжда, который изобрѣлъ эту формулу, не сомнѣвался, конечно, въ томъ, что въ этой формулѣ социальная проблема поста-

влена очень хорошо, въ формѣ тезиса, антитезиса и синтезиса. Свобода и равенство—противорѣчаютъ другъ другу, но существующую между ними антиномію разрѣшаетъ братство.

Свобода противорѣчитъ равенству, такъ какъ она аристократична по существу. Свобода никогда не дается сама собой, никогда не даруется; она завоевывается. Но завоевать ее могутъ только такія общественныя группы, которыя сумѣли сплотиться, организоваться, дисциплинироваться,—слѣдовательно, группы аристократическія. Единственными преградами деспотизма въ старой Франціи были—знать, церковь, парламенты,—три установившихся аристократіи. Всякая свобода является привилегіей, или она безсильна. Она можетъ также быть привычкой, національной традиціей, но тогда она имѣетъ только кажущуюся силу, и достойно удивленія, какъ одинъ жестокой ударъ сразу превращаетъ въ ничто все, что казалось основнымъ закономъ и неизмѣннымъ свойствомъ цѣлой націи. Свобода до крайности аристократична.

Равнымъ образомъ, равенство противоположно свободѣ. Оно волей-неволей разрѣшается въ правленіе одного, избраннаго или терпимаго всѣми вслѣдствіе страха передъ правленіемъ немногихъ. Правленіе всѣхъ, это—правленіе одного, такъ какъ правленіе всѣхъ существуетъ въ теоріи и для виду, правленіе же одного на практикѣ—и къ нему приходятъ по необходимости почти немедленно. Равенство существуетъ только въ деспотизмѣ, такъ какъ именно деспотизмъ создаетъ равенство, а съ другой стороны—только равенство создаетъ и поддерживаетъ деспотизмъ. Всякая демократія стремится къ деспотизму, не потому, что она его желаетъ, но потому, что это для нея необходимо.

Такимъ образомъ, свобода и равенство противорѣчаютъ и исключаютъ другъ друга, но *братство могло бы ихъ примирить.*